

пути к всечеловеческому идеалу братства, провозглашенного в речи о Пушкине. Вл. Соловьев вполне справедливо заметит при этом, что «Достоевский в области идей был более прозорливцем и художником, нежели строго-логичным последовательным мыслителем» (V, 419). Но само системное единство философского учения о жизни Вл. Соловьева рождалось на постоянном диалоге с художественным опытом познания человека Л. Толстым и Ф. Достоевским. Причем исходная «диалогическая встреча» их — открытие и актуализации трагического предела противоречия человека в отчуждении от целого как кризисе бытия. Отсюда все три писателя и мыслителя устремлены через это осмысление трагического противоречия к познанию коренных единичных основ жизни и, вследствие этого, созданию философии жизни: «учения о жизни», «идеи живой жизни», программы Всеединства — как гуманистического утверждения целостности и единства бытия. При этом все три художника и мыслителя обращаются к религиозной вере как высшей санкции в утверждении и освящении этого единства и целостности, выходя к религиозному сознанию как «сознанию жизни», к самой религии как «религии жизни».

Подобная общность, обнаруживающая типологическую закономерность философского и художественного сознания эпохи, устремленной, несмотря на свою переходность, к синтезу, к итогу, — не случайна и указывает на специфику русской мысли и русской культуры в человекознании в лице ее трех величайших представителей: Л. Толстого — Вл. Соловьева — Ф. Достоевского.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Н. Н. ЛЬВОВА

### «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛЕТОПИСЬ» «ЗУБОСКАЛ»

#### Дополнения к комментарию

1). В фельетоне «Петербургская летопись» за 11 мая 1847 г. Достоевский нарисовал образ шута и забавника — петербургского «человечка», некоторыми своими чертами предвещающего характеры позднейших героев писателя — Ежевикина и Опискина, Мармеладова и Снегирева, Федора Павловича Карамазова и героя «Записок из подполья». Источник этой зарисовки установлен не был, и в комментариях (18, 221) сделано общее замечание о бытовой зарисовке, ставшей как бы предварительным наброском характера Ползунова из одноименного рассказа, открывающего галерею «шутов» в творчестве Достоевского. Между тем представляется вероятным, что образ «человечка» в «Петербургской летописи» возникает в результате полемического диалога с О. И. Сенковским и с болгаринской газетой «Северная пчела», выступавшими против «сочинителей натуральной школы», которые сделали предметом исследования «внутреннего человека».

В этом плане центральный образ фельетона Сенковского «Человечек», опубликованного в «Северной пчеле», можно считать своеобразным литературным прототипом зарисовки Достоевского. Кстати, и уничижительное наименование героя — «человечек» — принадлежит, по-видимому, не Достоевскому, а Сенковскому, автору «Человечка». В своем фельетоне Сенковский описывает странную дружбу с человеком, которого он считает шутом, забавником, прихлебателем, презрительно именуя его «человечком». Сенковский характеризует «человечков» как устойчивый социально-психологический тип и рассуждает о низости человеческой природы.

Фельетон «Человечек» наряду с фельетонами Сенковского «Познакомка» и «Большой выход у сатаны» — один из наиболее популярных у читающей публики того времени. (По этой причине вдова писателя Адслайда Александровна Сенковская включила его в собрание сочинений мужа, выходявшее в 1858—1859 гг.). Ко времени появления «Петербургской летописи» Достоевского фельетон стал почти

устным рассказом. Но Достоевскому фигура Барона Брамбуса скорее всего могла запомниться с детства, поскольку его отец регулярно выписывал журнал Сенковского «Библиотека для чтения», а сочинения Барона Брамбеуса, выходявшие при жизни Сенковского, делали его одной из самых популярных литературных фигур своего времени. Однако убедительнее всего — текстуальные совпадения обоих фельетонов, зеркальный поворот сюжета и его переосмысление, подчеркнута пародийные речения. Эти совпадения значительно нивелируют их временную разнесенность. К тому же память Достоевского обладала необычными качествами сравнительно с рядовой человеческой памятью (достаточно вспомнить хотя бы о том, как Достоевский перепутал поэта Берга с Бергом — действующим лицом романа Л. Н. Толстого «Война и мир» или забыл девичью фамилию своей жены Анны Григорьевны при заполнении документов за границей: ведь для обычного человека, нацеленного сугубо на текущее, это почти невероятно). Механизмы человеческой памяти, тем более памяти гениального писателя, до сих пор достаточно загадочны, как например мнемонические правила древности, когда существовали способы дословного запоминания сакральных текстов (так, существовал особый класс масоретов, хранителей Писания, которые заучивали Библию наизусть и корректировали переписчиков).

Обратимся, однако, к тексту и сопоставим зарисовку из фельетона за 11 мая «Петербургской летописи» Достоевского с фельетоном Сенковского «Человечек»:

«Случалось ли вам <...> призадуматься <...> кто так подло, так дерзко оклеветал вас пред вашими друзьями? — пишет Сенковский. — Не ищите его далеко: это человечек <...> Несмотря на разнообразность его наружности <...> по душе он всегда человечек и никак не может выключиться из этого душевного роста, хотя, выпрямись хорошенько, иногда доходит телом до двух аршин и двенадцати вершков. . .»<sup>1</sup> — «...мы всё пробиваемся на наших доморощенных занимателях, прихлебателях и забавниках <...>, — иронически вторит Сенковскому Достоевский. — Вдруг и ведь вовсе не из подлости человек делается не человеком, а мошкой <...> Рост его делается не в пример ниже *вашего*.<sup>2</sup> Самостоятельность совершенно уничтожается» (18, 19); «...когда однажды наплевал я ему в рожу у себя за обедом, — рассказывает Сенковский, — он в порыве благородного негодования схватил нож с тарелки, уже хотел кольнуть меня в бок, — и вместо того кольнул им жаркое, а у меня поцеловал руку и сказал, что я его благодетель. Как не любить существа, одаренного таким кротким, таким любезным нравом?»<sup>3</sup> Достоевский как бы уточняет рассказ Сенковского: «...несмотря на то, что на нем превосходнейший фрак, он, в припадке общежития, ложится на пол, бьет радостно хвостиком, визжит, лижется, не ест подачку до слова: *есть*

<sup>1</sup> Сев. пчела. 1833. 16 июня. № 137.

<sup>2</sup> Здесь и далее, кроме случаев, специально оговоренных, курсив мой. — Н. Л.

<sup>3</sup> Сев. пчела. 1833. 16 июня. № 137.

<...> и, что смешнее всего, что приятнее всего, нисколько не теряет достоинства. Он сохраняет его, свято и неприкосновенно, даже в нашем собственном убеждении. . .» (там же, курсив Достоевского).

Сенковский обвиняет «человечков» в том, что они живут за счет доносов и сплетен, «торгуют тайнами, одеваются тайнами, едят и пьют тайны».<sup>4</sup>

Достоевский как бы намекает, что и самому Сенковскому не чужда подобная манера, но уже в более крупных масштабах: «Сплетня вкусна, господа! Я часто думал: что, если б явился у нас в Петербурге такой талант, который бы открыл что-нибудь такое новое для приятности общежития, чего не бывало еще ни в каком государстве, — то, право не знаю, до каких бы денег дошел такой человек» (там же). Но Сенковский отмечает и другую черту в поведении своего «человечка»: «Вчера встретили вы его на Невском проспекте; он лгал, льстил, ползал, подличал перед вами безо всякой нужды, единственно из удовольствия быть вашим приятелем».<sup>5</sup>

Достоевский как бы указывает на скрытую суть отношений «человечка» и его «благодетеля»: «...сколько значит <...> человек, всегда имеющий у себя в запасе какую-нибудь новость <...> Когда петербуржец узнает какую-нибудь редкую новость и <...> стремится к приятелям через Невский проспект <...> Он пресмирен и велик <...> Оттого, что петербургский человек в такую торжественную минуту познает всё достоинство, всю важность свою и воздаст себе справедливость» (18, 18—19).

«Человечек» из «Петербургской летописи» Достоевского — это как бы вступивший в полемику со своим создателем Сенковским его же собственный герой, его же собственное творение. Примечательно, что скрытая полемика с литературно-этической позицией Сенковского продолжается и в рассказе «Ползунков», герой которого получает и имя Сенковского — Осип.

2). Скрытая ссылка на статью В. Г. Белинского в фельетоне за 11 мая в комментарии к «Петербургской летописи» также не отмечена. Фельетон Сенковского «Человечек» был напечатан в «Северной пчеле», а этой газете Белинский посвятил юмористическую заметку «„Северная пчела“ — защитница правды и чистоты русского языка». Полемизируя с литературно-общественной установкой болгаринской газеты в лице ведущих ее публицистов, Белинский писал: «У „Пчелы“ или „Пчелки“, как иногда она сама себя называет, много разных претензий. Главнейшие из них — правдолюбие и отличное знание русского языка. Если поверить ей, то все наши журналы терпеть не могут правды, лгут направо <...> Только она, только одна „Пчела“ любит правду больше всего на свете — ежеминутно готова умереть за правду и терпит за нее гонения от всей литературной братии. . .».<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Отеч. зап. 1845. Т. 53. № 12. Отд. VIII. См. также: Белинский В. Г. «Северная пчела» — защитница правды и чистоты русского языка // Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 9. С. 371.

Регулы, Аристархи, Аристиды постоянно фигурировали на страницах болгаринской газеты. Достоевский, обращаясь к Сенковскому, напечатанному свой фельетон в «Северной пчеле» Булгарина, стремится напомнить о Белинском, а значит, и о литературном лагере, к которому принадлежал тогда сам молодой писатель: «Вы, конечно, Регул честности, по крайней мере Аристид, одним словом, *умрете за правду*. Вы видите насквозь своего человечка. Человечек, с своей стороны, убежден, что он совершенно сквозит; — а дело идет как по маслу, и вам хорошо, и человечек не теряет достоинства» (18, 19).

3). Скрытая ссылка на фельетон Белинского есть и в «Объявлении», написанном Достоевским к предполагавшемуся Некрасовскому альманаху «Зубоскал». Пародирование Достоевским общеизвестных заявлений «Северной пчелы» показывает, что истолковывать фразу «„Зубоскал“ будет (. . .) стоять (. . .) за правду» в качестве аншлага социального обличительства, как это сделано в комментарии (18, 214), — неправомерно. Напротив, Достоевский высмеивает эстетику «Северной пчелы», пользуясь подобными аншлагами — громогласно-безвкусными, но нравящимися толпе: «„Зубоскал“ будет отголоском правды, трубою правды, будет стоять день и ночь за правду (. . .) и особенно теперь, когда, с недавнего времени, правда ему страх как понравилась (. . .) но зато если и соврет, то (. . .) выйдет не хуже иной (чьей? — Н. Л.) правды (. . .) если случится ему умереть, то он и умрет не иначе как за правду. Да! не иначе как за правду!» (18, 8—9). Именно этот рефрен — «умереть за правду» (ср. заглавие статьи Белинского) Достоевский вновь повторяет в письме к брату, говоря об общественной позиции «Зубоскала»: «. . . главными его редакторами будем я, Григоров(ич) и Некрасов. (. . .) Название его „Зубоскал“; дело в том, чтобы острить и смеяться над всем, не щадить никого (. . .) всё это в одном духе и в одном направлении. (. . .) Эпиграфом берутся знаменитые слова *Булгарина* из фельетона „Северной пчелы“, что „мы готовы умереть за правду, не можем без правды“ и т. д., и подпишет *Фаддей Булгарин*» (28, 113, курсив Достоевского).

4). В комментариях (18, 214) сказано: «О причине запрещения „Зубоскала“ пишет в своих воспоминаниях Д. В. Григорович: „Одна неосторожная фраза в объявлении: «Зубоскал» будет смеяться над всем, что достойно смеха, — послужила поводом к остановке издания“. Фразы, приведенные Григоровичем, в печатном тексте нет, хотя она точно передает общий смысл заметки: автор ее писал, что «Зубоскал» «видит изнанку кулис», в то время как другие видят «лишь одну их сторону лицевую». Эта фраза, по-видимому, также содержит выпад против «Северной пчелы». Ведь в программном «эстетическом» заявлении «Северная пчела» писала: «. . . *внутренний* человек всего хуже и грязнее *наружного*, потому что последний стесняется законами и приличием, то и очевидно, что описание всех внутренних подробностей нашей жизни должно быть довольно *грязновато*». <sup>7</sup> Не исключено, что «остановка издания» «Зубоскала»

<sup>7</sup> Сев. пчела. 1842. 22 нояб. № 262.

произошла не без ведома и участия Ф. В. Булгарина, «Грязь» и «пошлость» — основные обвинения «Северной пчелы» писателями натуральной школы. В заметке «„Северная пчела“ — защитница правды и чистоты русского языка» Белинский писал: «О „Физиологии Петербурга“ „Пчела“ говорила несколько раз и два раза разбирала ее. Приговор ее был тот, что (. . .) все напечатанное в ней — бездарно, пошло, глупо, плоско, грязно. Так из чего бы и хлопотать? Стоит ли несколько раз говорить о плохой книге? Но у „Пчелы“ своя логика! По ее мнению, в России не было и нет писателя бездарнее и грязнее Гоголя, а между тем ни о ком, кроме своих издателей, так много и так часто не говорит она. . .». <sup>8</sup> Это же самое «эстетическое» заявление о «внутреннем» грязном и внешне благообразном человеке, помещенное в болгаринской газете, поможет разъяснить и совершенно парадоксальное (в прямолинейном смысле) утверждение в фельетоне за 11 мая «Петербургской летописи», не откомментированное в т. 18 ПСС Достоевского: «Двуличие, изнанка, маска — скверное дело, согласен, но если б в настоящий момент все бы явились, как они есть на лицо, то, ей-Богу, было бы хуже», — пишет Достоевский (18, 20). Ну с какой бы стати Достоевскому выступать защитником потасной, сокровенной «грязи», — ему, приверженцу «натуральной школы».

Это мнение подтверждает и установка на диалог с болгаринской «Северной пчелой», сквозная в цикле Достоевского. Так, в 54-м номере газеты появилось: «Чтение еще не сделалось потребностью нашей жизни (. . .) У нас нет литературных бесед, на которых блистают остроумием». <sup>9</sup> «Потребность чтения начала распространяться уже по всем сословиям». Рисуя «рассудительного, пожилого человека, которому «вдруг начали трубить в оба уха, что то, что он читал до сих пор за самую высокую добродетель и мораль, как-то вдруг сделалось и не добродетелью и не моралью, а чем-то другим, только отнюдь не хорошим», Достоевский как бы отвечает на возмущенный отзыв Булгарина об альманахе «натуральной школы» «Первос апреля»: «. . . грязные картины униженного человечества, выходки бессильной зависти и вообще нравственный и литературный цинизм, перед которым надобно жмурить глаза и затыкать уши! И это называется литературой!» <sup>10</sup>

5). В комментариях к фельетону за 1 июня «Петербургской летописи» сказано, что о «духе анализа» писал Белинский на протяжении почти всей своей литературно-публицистической деятельности (18, 228). Следует добавить, что об этом же писал в 1845 г. и русский журнал «Финский вестник», в котором одно время участвовали В. Н. Майков и другие петрашевцы. В фельетоне за 1 июня Достоевский пишет: «Почти всякий начинает разбирать, анализировать и свет, и друг друга, и себя самого. Все осматриваются и обмеривают друг друга любопытными взглядами. Наступает какая-то всеобщая исповедь» (18, 27). «Анализ явился у нас не в силу моды, а вслед-

<sup>8</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 374.

<sup>9</sup> Сев. пчела. 1847. 8 марта. № 54.

<sup>10</sup> Там же. 1846. 12 апр. № 80.

ствие исторического развития нашего. Мы дожили до эпохи *самоосознания*.<sup>11</sup> Именно об эпохе самоосознания, свидетельствующей о «здоровье народа», умеющего любить и понимать свой «настоящий момент», как раз и говорит Достоевский в фельетоне за 1 июня.

6). По поводу упоминания книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» в «Петербургской летописи» в комментариях сказано, что Достоевский сочувственно относился к «*единодушному*» отрицательному отзыву о книге Гоголя «почти всех газет и журналов», обычно противоречащих, по его словам, «друг другу в своем направлении» (18, 224). Между тем отзыв этот единодушным не был. Хвалебные отзывы о «Выбранных местах...» поместили Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, Ан. Григорьев. Почему же Достоевский говорит о *единодушии*? Дело в том, что в самый разгар горячей полемики вокруг книги Гоголя в «Северной пчеле» 21 апреля, т. е. за несколько дней до появления фельетона Достоевского, была напечатана статья с целыми, противоречащими истинному положению дел словами: «Все истинно просвещенные и благомыслящие люди с удовольствием увидели, что с некоторого времени суждения журналов наших стали гораздо умереннее и осмотрительнее прежнего, странные возгласы реже и тише, литературные мнения несколько ближе к истине, парадоксы дальше от невежества и заблуждения, ясно усмотренного публикою, которую старались сбить с толку судьи непризванные и безвестные».<sup>12</sup>

После этих общеприимительных заявлений Булгарин, противореча собственным словам, разругал своих литературных противников. Поэтому современникам, читавшим статью Булгарина, был понятен смысл насмешливой полемической реплики в фельетоне Достоевского за 27 апреля: «Мы слышали, что многие очень довольны зимним литературным сезоном, — пишет он, имея в виду, вероятно, общеприимительные заявления Булгарина. — Крику не было, особенной бойкости и споров зуб за зуб тоже (...) (Достоевский как бы повторяет здесь реплики «Северной пчелы». — Н. Л.) Всё как-то делается серьезнее, строже; во всем более стройности, зрелости, обдуманности и согласия. Правда, книга Гоголя наделала много шума в начале зимы. Особенно замечательен *единодушный* отзыв о ней почти всех газет и журналов, постоянно противоречащих друг другу в своем направлении» (18, 18).

Полемизируя с булгаринской статьей, Достоевский ссылается на жгучую полемику о книге Гоголя, тем самым высмеивая заявления «Северной пчелы» о *согласии* различных направлений современной литературы.

7). В комментариях (18, 218) отмечено: «Созданный Достоевским образ „фланера-мечтателя“ был близок повествователю в фельетонах „Петербургской летописи“, написанных А. Н. Плещеевым...». Следует добавить, что некоторые плещеевские темы из га-

зеты «Русский инвалид» (в которой Плещеев всл отдел фельетона) находят отклик и в «Петербургской летописи» Достоевского. На тему о «новостях» и «погоде» Плещеев писал: «Ничего не может быть скучнее как начинать фельетон с погоды, и, однако же, на этот раз нельзя не упомянуть о ней, потому что со всех сторон только и раздается: „весна!“, „весна!“... Она на всех устах; это решительно самая важная и самая отрадная петербургская новость. Нового ничего нет под солнцем: это знают все (...) Люди, побужденные сильною потребностью новизны, стали называть новым то, что уже слишком старо... Итак, весна всего новее, потому что весна всего давнее».<sup>13</sup>

В другом фельетоне Плещеев вспоминает «престроумную статейку» Ипполита Ролля, в которой критик классифицирует вопросы людей, «которым нечего говорить»: «„Как холодно! Как тепло!“ „Какой у вас аппетит?“ (...) „Что нового?“ (...) Предметы разговора общеупотребительные». Плещеев упоминает и о «другой породе вопросительной», которые, «встретив вас 20 раз на неделе, каждый раз бросят вам в лицо (...) такое приветствие (...) А что вы поделяете?». «Всего забавнее, — пишет Плещеев, — люд, требующий от вас отчета в том, что вы делаете, — люд, который сам ровно ничего не делает и который есть ничто».<sup>14</sup>

Достоевский пересмысливает плещеевские замечания в фельетоне за 27 апреля, а в фельетоне от 1 июня даже как бы полемизирует с Плещеевым (а не вторит ему, как принято думать) — именно там, где говорит о подлинных «новостях» русской жизни (18, 26—27, 28). В хорошую погоду при встрече с приятелем, пишет Достоевский, петербуржец «забывает свой обыденный вопрос: *что нового?* и заменяет его другим, гораздо более интересным: *а каков денек?* А уж известно, что после погоды (...) самый обидный вопрос в Петербурге — *что нового?* (...) всего оскорбительнее то, что часто спрашивает человек совсем равнодушный, коренной петербуржец, знающий совершенно обычаи, знающий заранее, что (...) нет нового, что он уже, без малого или с небольшим, тысячу раз предлагал этот вопрос, совершенно безуспешно и потому давно успокоился — но все-таки спрашивает, и как будто интересуется, как будто какое-то приличие заставляет его тоже участвовать в чем-то общественном и иметь публичные интересы» (18, 11—12, курсив Достоевского).

8). В фельетоне за 1 июня (18, 27) Достоевский пишет о «господах обижаящихся» на сочинителей «физиологий», имея в виду публицистов «Северной пчелы» во главе с Булгариным; «Пчела» ушрекала: «Тон всех журналов — *насмешка*. . . Нонешним русским Вольтерам, Аддисонам и Молиерам особенно смешными кажутся чиновники и помещики».<sup>15</sup> «Думали, — как бы отвечает Достоевский, — что нападения преследуют известные классы общества (...) Иные (...) кричали из всех сил против всеобщего развращения нравов

<sup>11</sup> Фин. вест. 1845. № 1. Отд. «Нравоописатель».

<sup>12</sup> Сев. пчела. 1847. 21 апр. № 88.

<sup>13</sup> Рус. инвалид. 1847. 12 марта. № 56.

<sup>14</sup> Там же. 3 апр. № 71 (выделено в тексте).

<sup>15</sup> Сев. пчела. 1846. 30 марта. № 72 (выделено в тексте).

и забвения приличий. . .» (там же). И действительно, за несколько дней до появления этого фельетона Достоевского «Пчела» писала: «Язык должен иметь свои приличия, — и если бессмысленная новая школа, прозванная нами „натуральная школа“, попирает эти приличия и не находит в русском языке слов для выражения своих намерений, это не должно свращать с прямого пути людей ученых, степенных, благонамеренных, истых литераторов».<sup>16</sup>

9). 12 апреля в «Журнальной всякой всячине» Булгарин писал об Отчете Демидовского дома призрения трудящихся, восхищаясь организацией общества, которая, по его мнению, являет пример того, «как с *малыми деньгами* можно сделать *много добра* на свете».<sup>17</sup> Скучность и бедность кассы, присущая большинству благотворительных обществ, так объяснялась в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя: «Пожертвованья собственно в пользу бедных у нас делаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякий уверен, дойдет ли, как следует, до места назначения его пожертвованья, попадет ли оно именно в те руки, в которые должно попасть». Гоголь поучал: «Помогать нужно прежде всего тому, с которым случилось несчастье внезапно, которое вдруг, в одну минуту, лишило его всего за одним разом: или пожар, сжегший всё дотла, или падеж (. . .) или смерть, похитившая единственную подиору, словом — всякое лишнее внезапно, где вдруг явится человеку бедность, к которой он еще не успел привыкнуть. Туда несите помощь».<sup>18</sup>

Гоголевское мнение по существу разделялось и А. Н. Плещеевым, который 24 апреля, сочувственно цитируя Устав благотворительного общества, писал: «Большая разница (. . .) между человеком (. . .) перешедшим из достаточного состояния в полную нищету, (. . .) между страданиями человека образованного (. . .) стыдящегося своей бедности, для которого и его бедность и пособия, даваемые ему, кажутся равным унижением, и человеком, которого сознание не так развито, чувства не столь утончены, и который, по привычке, смотрит на подавание как на дело весьма простое и должное».<sup>19</sup>

Эти мнения объединяются в полемическом выпаде Достоевского в фельетоне за 11 мая «Петербургской летописи»: «. . . из всех возможных бедностей самая гадкая, самая отвратительная, неблагородная, низкая и грязная бедность — светская (. . .) Это нищета, стыдящаяся просить милостыню, но не стыдящаяся брать ее самым наглым и бессовестным образом» (18, 21).

Для Достоевского, вероятно, существенным было и то, что именно автор «Выбранных мест. . .» предлагал такую программу филантропических пожертвований. Программа Гоголя строилась им на основании выводов о свойствах национального характера. Гоголь призывал «вникнуть» в природу русского человека, в его «обстоятельств-

<sup>16</sup> Там же. 1847. 18 апр. № 86.

<sup>17</sup> Там же. 12 апр. № 81 (выделено в тексте).

<sup>18</sup> Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 8. С. 235.

<sup>19</sup> Рус. иصالнд. 1847. 24 апр. № 89.

ва». «Русский человек способен на все крайности: увидя, что с полученными небольшими деньгами он не может вести жизнь, как прежде, он с горя может прокутить то, что ему дано на долговременное содержание. А потому наставьте его (. . .) объясните ему истинное значение несчастья (. . .) дабы он изменил прежнее житие свое, дабы отныне он стал уже не прежний, но как бы другой человек, и всестенно и нравственно».<sup>20</sup> Такая помощь есть, по мнению Гоголя, «истинно христианская», ибо, если помощь «будет состоять в одной только выдаче денег, она ровно ничего не будет значить и не обратится в добро», — «если. . . вы не принесли с собой ему наученья, как отныне следует вести ему свою жизнь».<sup>21</sup>

Таким образом, в «Петербургской летописи» Достоевский, как можно полагать, не просто упоминает «Выбранные места. . .» Гоголя, но и полемизирует с некоторыми идеями этой книги. Обращаясь к «господам поучателям» на «лучшую и полезную деятельность» в фельетоне за 15 июня, Достоевский называет гоголевские выводы о природе русского человека только «кажущимися вероятными» на «досужный», «кабинетный» взгляд, но не являющимися по сути своей таковыми: «Говорят что мы, русские, как-то от природы ленивы и любим сторониться от дела (. . .) Полно, правда ли? И по каким опытам оправдывается это незавидное национальное свойство наше?» (18, 31). Недаром в этом пункте мнение Гоголя поразительно совпадает — хотя и с «другого конца» — с рассуждениями о России маркиза де Кюстина, также предлагающего русским «излечиваться во времена патриархальных». «. . . как ловко, себе неведомо разумееется, стакнулся француз с некоторыми, не скажем русскими, но досужными, кабинетными идеями нашими» (18, 25). Достоевский же в фельетоне за 1 июня приветствует текущий, «современный момент» русской жизни, а в фельетоне за 15 июня, сравнивая характер русского с характером аккуратного «систематического» немца, замечает: «Реформа Петра Великого, создавшая на Руси свободную деятельность, была бы невозможна с таким элементом в народном характере. . .» (18, 32). Словом, то, что Гоголь считает «уклонением» от исторического пути, Достоевский в «Петербургской летописи» стремится объяснить особенностями русской истории.

10). В комментариях сказано, что замечания Достоевского-фельетониста о петербургских кружках имеют «автобиографическую основу», в виде намеков на общественно-политические кружки западников и славянофилов, В. Г. Белинского, М. В. Петрашевского, А. И. Герцена и Н. П. Огарева и т. д. (18, 218). Загадочно, однако, для чего бы это Достоевскому понадобилось намекать на существование, например, кружка Петрашевского (в котором обсуждались политические проблемы), да еще в центральном официальном органе России — газете «Санкт-Петербургские ведомости»? Ведь не донести же стремился он в самом деле о своих политических симпатиях столь

<sup>20</sup> Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. С. 235—236.

<sup>21</sup> Там же. С. 235.

странным образом! К тому же уже сам иронический тон фельетониста при упоминании о «кружках», в которых можно преблагополучно провести свою полезную жизнь между зевком и сплетней, сразу ставит под сомнение политическую подоплеку вкупе с автобиографическими признаниями. Сквозная тема Москвы и Петербурга, вбирающая и этот фрагмент цикла фельетонов Достоевского, позволяет предположить скрытую ссылку на «Петербургские записки 1836 года» Гоголя. «Трудно схватить общее выражение Петербурга, — пишет Гоголь. — <...> Сколько в нем разных наций, столько и разных слоев общества. Эти общества совершенно отделены. . . Все составляют совершенно отдельные круги. . . И каждый из этих классов <...> составлен из множества других маленьких кружков, тоже не слитых между собой <...> Попытка на заведение публичных обществ доселе не имеет успеха <...> Что Петербург не сделался до сих пор гостиницею, этому виною какая-то внутренняя стихия русского человека, до сих пор глядящая оригинальностью. . .»<sup>22</sup> «. . . весь Петербург есть не что иное, как собрание огромного числа маленьких кружков, — пишет Достоевский в фельетоне за 27 апреля, — у которых у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика и свой оракул. Это, некоторым образом, произведение нашего национального характера, который еще немного дичится общественной жизни и смотрит домой» (18, 12). «Петербургские записки 1836 года» отстоят более чем на десятилетие от фельетона Достоевского, но Белинский в очерке «Петербург и Москва» (о котором не мог не знать Достоевский) привел обширную выдержку из «Петербургских записок 1836 года» Гоголя. Косвенным подтверждением того, что Достоевский ссылается именно на Гоголя (а не на очерк Белинского, например), является то, что в фельетоне за 11 мая, продолжая тему кружков и связанную с ней тему общественной жизни Петербурга, Достоевский употребляет общеизвестные фразы из поэмы Гоголя «Мертвые души» и некоторые из них подчеркнуто берет в кавычки: «. . . вникнуть в смысл, в содержание того, об чем у нас говорят общественные светские люди, люди — не кружок, я как-то до сих пор не успел. <...> Слышится иногда, что все будто говорят о каких-то серьезных предметах <...> но потом <...> никак не узнаете об чем именно: о перчатках ли, об сельском ли хозяйстве, или о том „продолжительна ли женская любовь?“»<sup>23</sup> (18, 22; курсив Достоевского; разрядка моя. — Н. Л.).

«Петербургские записки 1836 года» Гоголя отозвались и в раннем рассказе Достоевского «Ревнивый муж» с фельетонным подзаголовком «Происшествие необыкновенное», позднее объединенном с рассказом «Чужая жена», и в частности в иронических намсках на замечания Гоголя о духе и воздействии музыки. «Музыкальные страсти — не житейские страсти, — пишет Гоголь, — музыка иногда только выражает, или, лучше сказать, подделывается под голос на-

<sup>22</sup> Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 179—180.

<sup>23</sup> Там же. Т. 6. С. 483.

ших страстей, для того, чтобы, опершись на них, устремиться брызжущим и поющим фонтаном других страстей в другую сферу».<sup>24</sup> Героя «Ревнивого мужа» Ивана Андреевича, как известно, привела в Италийскую оперу житейская страсть — ревность к собственной супруге. «Еще никогда не замечали в нем такого флюге, такой страсти к музыке. <...> знали, что Иван Андреевич чрезвычайно любил всхрапнуть часок-другой в Италийской опере. . .». Теперь же он «злился и горячился, как самовар. <...> Говорят, что музыка тем и хороша, что можно настроить музыкальные впечатления под лад всякого ощущения. Радующийся человек найдет в звуках радость, печальный — печаль; в ушах Ивана Андреевича завывала целая буря» (2, 61—62).

М. Л. КОВСАН

#### ОБ ОДНОЙ РЕМИНИСЦЕНЦИИ В «ДЯДЮШКИНОМ СНЕ»

Напомним соответствующее место из «Дядюшкиного сна»: «Рассказывали, между прочим, что князь проводил большие половины дня за своим туалетом и, казалось, был весь составлен из каких-то кусочков. Никто не знал, когда и где он успел так рассыпаться. Он носил парик, усы, бакенбарды и даже эспаньолку — всё, до последнего волоска, накладное и великолепного черного цвета; белился и румянился ежедневно. Уверяли, что он как-то расправлял пружинками морщины на своем лице и что эти пружины были, каким-то особнным образом, скрыты в его волосах. Уверяли еще, что он носит корсет, потому что лишился где-то ребра, неловко выскочив из окошка, во время одного своего любовного похождения, в Италии. Он хромотал на левую ногу; утверждали, что эта нога поддельная, а что настоящую сломали ему, при каком-то другом походе, в Париже, зато приставили новую, какую-то особенную, пробочную. Впрочем, мало ли чего не расскажут? Но верно было, однако же, то, что правый глаз его был стеклянный, хотя и очень искусно подделанный. Зубы тоже были из композиции» (2, 300—301).

Нам представляется, что во время работы над описанием «составленного из кусочков» героя Достоевскому вспомнился один из эпизодов «Ивана Выжигина» Ф. Булгарина. (Вряд ли можно сомневаться, что еще в юности Достоевский прочел этот роман: он упоминается в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе».)

Во второй главе «Рассказ Арсалан-Султана о пребывании его в России» второй части романа герой вспоминает о своем посещении чиновного господина Фирюлькина, «дряхлого старичишки», «старого волокиты». Проходя «чрез уборную Фирюлькина <...> я невольно остановился, чтоб рассмотреть вещи, которых я прежде не видывал.

<sup>24</sup> Там же.